ИВАН КРЕСЛОВ

18+

ПУТЬ К НОВОМУ ДНЮ



Иван Креслов

Путь к новому дню

«Издательские решения»

Кресло́в И. А.

Путь к новому дню / И. А. Кресло́в — «Издательские решения»,

«Путь к новому дню» — вторая книга. Всё начинается на дне, где в больничной палате зажигается едва заметный свет рассвета. Мать — тихая опора. Врачи возвращают тело к жизни. Первый шаг — и слёзы от удивления: «Я иду». Упрямство превращает действие в привычку, привычку — в жизнь. Выписка. Родня в первых лучах. Равнодушие мира — свобода: мир продолжается, и ты с ним. Просветление — тихий голос: «Иди. Чувствуй. Будь». Финал — разговор о цене беспечности и путь к дню, не лёгкому, но твоему.

© Кресло́в И. А.
© Издательские решения

Содержание

Путь к новому дню 6
Книга вторая 7
Глава 1. Пациенты и медики 8
Некоторые аспекты взаимоотношений 9
Глава 2. Сила материнской любви 17
Глава 3. Помощь друга 24
Пересадка 25
Глава 4. Тело и душа 28
Конец ознакомительного фрагмента. 30

Путь к новому дню

Иван Анатольевич Креслов

© Иван Анатольевич Креслов, 2026

ISBN 978-5-0071-6818-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Путь к новому дню

Книга вторая

Глава 1. Пациенты и медики

Некоторые аспекты взаимоотношений



Невидимая колесница времени летела вперед, унося за собой дни, недели и месяцы, а стрелки часов бежали с равнодушием тех, кому нечего ждать. Время моего лечения растянулось до того, что я потерял счет операциям. Боль изматывала, и усталость брала свое, отключая мой организм на отрезки суток, которые я не мог назвать ни сном, ни бодрствованием. Я просыпался — то от боли, то от одного и того же сна, самого реалистичного из всех, что приходили ко мне в этой жизни.

И сейчас помню его, до мельчайшей черточки. Он был мрачен, как дно колодца. Я шел по кладбищу, искал свою выкопанную могилу — шел молча, с тревогой в сердце, творя беззвучную молитву, всматриваясь в каждую могилу по очереди, будто просясь туда, в землю. Образы эти были нереальны, настойчивы и неизменны; они заполняли все мои ночи и стали верной приметой того периода.

Детали в памяти стояли так живо и отчетливо, что с ними не выдержали бы сравнения даже настоящие воспоминания. Казалось, все происходило наяву. Но вот беда: в отличие от обычных снов, этот не собирался таять и забываться. Картина, мгновение назад столь насыщенная и реальная, не рассыпалась, как песчаная скульптура под проливным дождем. Контуры не сглаживались. Очертания противились словам, но не спешили исчезать. Я лежал и думал, пытаясь наполнить смыслом то, что застряло в сознании пустым силуэтом. Смысла я не понимал, но при пробуждении меня бросало в пот, и, глотая слезы, я испытывал чувства, для которых не находил имен. Наваждение длилось еще какое-то время после того, как я открывал глаза. И лишь убедившись, что передо мной снова действительность, а не пугающее сновиде-

ние, я чувствовал на лице подобие улыбки — и признательность Богу за то, что жизнь моя все же менее ужасна, чем мои сны.

Я приучил себя вполголоса разговаривать с собой, когда в палате никого нет. «Слава Богу», — бормотал я, как заклинание, как якорь, за который цеплялся, выныривая из этой черноты. Сны годятся лишь для сказаний. Все по-настоящему важное происходит наяву. Просыпался я — и подушка была мокрой. Нет, не только во сне плачут молодые мужчины. Плачут они и наяву. Тут главное — уметь вовремя отвернуться, чтобы никто из медицинского персонала не увидел, как по щеке бежит скупая, жгучая мужская слеза. Это были слезы гнева, печали, возмущения и обиды. От них, сдержанных в темноте палаты, оставался лишь нервозный блеск глаз. Иногда, чтобы яснее видеть, наши глаза должны омыть слезы.

И вновь и вновь, будто отвечая своему сну, я говорил ему: «Не дождешься!»

Часто мы недооцениваем глубину и разнообразие форм сна — даже в самих себе. В этом, как и во многом, понимание приходит лишь тогда, когда наконец начинаешь осмыслять то, что переживаешь. Ведь во сне наши желания встречаются с нашими страхами. А когда твое желание и твой страх — одно и то же, это называется кошмаром.

Лежал я на кровати: молодой, несолидный, взъерошенный, с красными, слезящимися от недосыпания глазами, в ознобе, небритый. Руки и ноги у меня безвольно лежали на кровати, но в них еще были заметны остатки прежней красоты и силы. Мои вещи висели на вешалке. Больничные тапочки стояли далеко от моей тумбочки; за ненадобностью они были задвинуты в самый дальний угол и пригодились мне только через несколько месяцев.

Друзья меня подбадривали, испуская импульсы поддержки, проявляющиеся в звонках, в СМС и личных приездах ко мне в медицинское учреждение. Они, увидев меня в первый раз в таком состоянии, испуганно отпрянули и были ошеломлены, но со временем к моему тяжелому виду все же привыкли. В одно утро шел снег; исчезающие снежинки остужали виски моих друзей, шедших по коридору больницы к палате, где находился я. Проходя мимо одной из палат, они услышали возмущенный голос: «Выписной лист мы давно приготовили. И не обязаны бегать с вашими документами, ищите родственников, чтобы они вас забрали или оформили необходимые документы в дом для инвалидов». Друзья остановились на фоне ползущей по коридору звуковой волны и посмотрели в открытую дверь палаты взглядом, в котором в данный момент не было ничего, кроме очевидного человеческого недоумения. Ни единого звука не раздалось в молчаливом сознании пациента, со схожей тишиной зала судебных заседаний: там не слышались ни слова жалости, ни голос защиты, оставались лишь фразы, которые впитала в себя его память. Можно было видеть, как глаза пациента блуждали по палате, мимо маленького интерьера, тумбочек и больничных кроватей, словно надеясь, что мелькание мебели спасет его от необходимости смотреть в будущее. Друзья вошли ко мне в палату, я успел заметить выражение их лиц: они буквально кричали от возмущения и врезались мне в память. Я ощутил на себе их боль.

— Что случилось?

— Мы услышали…

— И что же вы услышали?

Антон развел руки и уронил их, отступив назад. Эмоции переполнили его против воли; теснившиеся в голове вопросы не могли выплеснуться в слова.

— Что вы услышали, Юрий?

— Иван, в сущности, ничего. Ничего плохого, и вместе с тем это значит, что все плохо. Вот что самое страшное, — сказал он мягко, убедительным тоном. Старался он прежде всего рассказывать спокойно, но это давалось ему с трудом, и он уже просто не мог проследить за своими словами. Они слетали с его губ, как бы подчиняясь полному боли неверию ребенка, громко возмущающегося при первом столкновении со злом. Юрий знал, что со временем все обдумает, размыслит о превратностях жизни и судьбы и многое поймет, но в ту минуту ему

не хотелось ничего, лишь только разобраться в том, что же он ощущает. Я слушал его, глядя прямо в глаза. Внимательный мой взгляд, казалось, поглощал каждое слово и аккуратно посылал в архив памяти, не давая понять, зачем. Мне показалось, что друзья обращаются ко мне за надеждой, утешением, за новой решимостью. А у кого мог почерпнуть все эти достоинства я? Сегодня они были нужны мне самому как воздух. Мне самому хотелось бы доверить кому-нибудь свои страдания, ища при этом у него защиты, того, на кого можно было бы облокотиться в любой момент, просто сказать: «Я так устал» — и получить момент отдыха. Я почувствовал, как дернулись губы, как будто пощечина запретила мне подобные мысли. Рассказав мне о том, что они услышали, все внутри у меня тогда запротестовало. Я знал, что Юрий никогда не говорит людям о том, чего не знает, и я всегда знал, что он знает гораздо больше, чем говорит. На следующий день истина наконец приоткрыла свое лицо — я узнал, кому была брошена та резкая реплика. Им оказался парень, чьи ноги вдруг утратили способность двигаться. В моем сознании эта беда странным образом сплеталась с мыслью о том, что он, быть может, просто перестал бороться с собой, не дотянул до той черты, где начинается настоящая работа над собственной душой.

Горло мое сжимала судорога — тяжелая, горькая, будто сотканная из мучительного сочувствия и бессилия. Я всегда преклонялся перед честолюбием — но не перед пустым тщеславием, а перед тем внутренним огнем, который заставляет человека действовать, не останавливаться, не сдаваться, снова и снова подниматься, даже когда земля уходит из-под ног.

Да, у меня и с той самой медсестрой, Еленой, отношения давно натянулись до предела. В ее взгляде всегда сквозило какое-то колючее высокомерие, будто она питалась не едой, а острыми словами, и каждый ее жест был готов уколоть. Бывают люди, в которых злость будто живет отдельной жизнью — просыпается от случайной мысли, от тени ревности, от внезапного раздражения, и тогда они способны причинить боль, даже не задумываясь. И самое страшное, что они могут не замечать этой боли — или замечать и все равно не останавливаться.

Я не раз вступал в споры с медперсоналом: не из упрямства, а потому что не мог спокойно смотреть, как чужую боль встречают сухим кивком, словно это просто пункт в списке дел. Меня все сильнее тяготило то, как в этих стенах, пропитанных запахом лекарств и тишиной, будто стирается сама человечность. Казалось, небрежность и равнодушие стали не исключением, а привычным фоном — таким же будничным, как скрип тележек по коридору или позвякивание шприцев в лотке.

В голове безостановочно прокручивались моральные дилеммы — словно острые осколки, которые нельзя ни выбросить, ни сложить в ровный узор. Как поступить, не предав свои принципы? Можно ли помочь, не навредив? Эти вопросы впивались в сознание, не давая ни секунды передышки.

Когда мы становимся взрослыми, перед нами распахивается целая панорама страданий и несправедливости — широкая, безжалостная, будто специально созданная, чтобы испытать нашу душу на прочность. И многие, испугавшись этой правды, сознательно выбирают не видеть ее. Они опускают глаза, прячут взгляд, убеждают себя, что молчание — это не трусость, а благоразумие.

Но именно этого нужно бояться больше смерти, больше любой самой жуткой опасности. Потому что, отказываясь от собственной точки зрения, ты отказываешься от самого себя — от своей личности, от права быть человеком, который видит, чувствует и отвечает за свой выбор. Ты стираешь собственный голос, и тишина становится громче любого крика.

Правосудие — это не только наказание провинившихся. Это еще и попытка спасти их, разглядеть в человеке то, что он сам уже готов похоронить. Это тонкая, почти невидимая грань между возмездием и милосердием, и пройти по ней — возможно, самое трудное испытание из всех.

Вспоминаю систему воспитания, которую строили наши родители, — в ней было что-то удивительно цельное, правильное, будто они знали: главное — не дать ребенку привыкнуть к полусну. А ведь это самое страшное — превратиться в спящего с раскрытыми глазами: смотреть и не видеть, замечать и не думать, различать добро и зло — и оставаться к ним равнодушным, спокойно проходить мимо несправедливости, словно она тебя не касается.

Есть в людях такая сила — собранная воля и деятельный дух. Когда они есть, ни судьба, ни зловещие знамения, ни роковые совпадения не смогут взять над тобой верх. Никогда не падай духом. Если упадешь телом — тебя поднимут. Но если упадешь духом — тебя затопчут.

Мы все — части одного общества, и у каждого есть право рассчитывать на его поддержку. Разве один человек хуже другого? Не все ли равно, кто он — депутат или дворник, — если в нем есть ум и сердце, способное отзываться на чужую боль?

Позже я пришел к простой, но тяжелой мысли: единственное, что удерживает человека от того, чтобы ранить ближнего, — это доброта. Без нее любая сила становится опасной, любое слово — ударом. Я даже в шутку говорил себе, что нигде чувства не обостряются так, как рядом с кем-то, кто будто нарочно проверяет границы чужой уязвимости. Но в этой шутке было больше горечи, чем веселья.

В тот день ее слова прозвучали в коридоре, как удар хлыста. Кто-то спросил: «Куда пошла?» — и Елена бросила в ответ так громко и небрежно, что фраза долетела даже до моей палаты сквозь закрытые двери: «Пойду того безногого бычка перевяжу». Эти слова повисли в воздухе, тяжелые и жестокие, и, кажется, их слышал весь этаж. Может, она и не думала, что режет по живому, не осознавала, какую рану оставляет. А может, просто привыкла не замечать чужую боль. Но для того, кого так назвали, это было не просто слово — это было унижение, оглушающее своей будничностью.

Тогда я впервые всерьез задумался о том, что врачи и правда могут ранить не только скальпелем. Есть даже специальный термин — ятрогения: болезнь, рожденная словом или поступком того, кто должен лечить. Впервые о ней заговорил психиатр О. Бумке ещё в 1925 году, назвав врача порой причиной душевных страданий. И ведь правда: иногда одно неосторожное слово ломает сильнее, чем любая травма.

У меня всегда были свои правила, простые и твердые: никогда не обижать того, кто не может дать сдачи. Сила не в том, чтобы задеть слабого, а в том, чтобы защитить его. Стремление к справедливости и правде всегда жило во мне, не давая пройти мимо, закрыть глаза, сделать вид, что ничего не случилось.

И в тот день я не выдержал. Волна гнева поднялась где-то в груди, сжала горло, и, чуть задыхаясь, я все же выговорил твердо, глядя Елене прямо в глаза:

— Почему вы позволяете себе так говорить о больных? Ведь он тоже слышит. Представьте, каково это — быть беспомощным, лежать неподвижно и понимать, что о тебе болтают, словно ты уже не человек, а строчка в журнале, случай для отчета. Ужасно оказаться в такой беспомощности — чувствовать, как тебя стирают из мира одним небрежным словом.

В палате повисла тишина, густая и колючая, будто воздух вдруг стал тяжелее. Глаза Елены на миг дрогнули — то ли от неожиданности, то ли от чего-то глубже, — но я уже не мог отступить. Слишком ясно я видел, как съеживается под этими словами тот, кто и так едва держится на краю.

В следующую секунду ее глаза на мгновение вспыхнули каким-то лукавым огнем, а потом в них скользнуло то самое высокомерие — гордое, холодное, непробиваемое.

— Ладно, ладно, — процедила она с усмешкой, будто делая мне одолжение. — Будут тебе мучительные перевязки.

Но в тот момент я уже знал: я не отступлю. Потому что, когда встаешь на сторону слабого, ты не просто защищаешь его — ты становишься чуть мудрее, чуть человечнее. И этот путь, пусть и трудный, стоит каждого сказанного слова. Взгляд ее застыл в моей памяти как

метка, выжженная на сознании. Она будто поставила точку там, где мне еще хотелось ставить вопросы. Наш диалог напоминал разговор слепого с глухим: каждое слово падало, как камень, и завершалось безапелляционной точкой — будто не оставалось места ни для сомнений, ни для возражений.

Я смотрел на нее, не веря своим ушам. В ее интонации слышалась привычная уверенность человека, который давно перестал искать оправдания своим словам. Да, в таком возрасте редко переписывают себя заново — эта мысль скользнула в голове холодной тенью. Я улыбнулся улыбкой, в которой не было силы, лишь усталость, разом накрывшая меня тяжелым плащом. И тут же почувствовал, как сердце рухнуло куда-то вниз, в глухую пустоту.

Меня трясло. Я был открыт, беззащитен — и, кажется, она это чувствовала. В ее глазах мелькнуло что-то похожее на удовлетворение, но в тот момент это уже не имело значения. А потом она вдруг заметила мою улыбку — и гнев, душивший ее, отступил, словно наткнулся на стену, которую не смог пробить. На его месте осталось холодное, почти ледяное любопытство: она изучала эту улыбку, будто перед ней был не человек, а загадка, требующая разбора.

Бросив несколько невнятных фраз, смысл которых растворился в воздухе раньше, чем достиг моих ушей, она вышла из палаты. Ее сила, как мне казалось, держалась на отсутствии сострадания и безграничной резкости. Я молча согласился с ее словами — внутри все бунтовало, но сил на спор не осталось.

Елена сдержала слово. В одну из своих смен, перевязывая меня, она нанесла медицинский клей на участки ног, покрытые волосами. Последствия настигли меня на следующий день, когда бинты снимала уже не она, а ее коллега Лилия.

В ее взгляде не было ни отстраненности, ни торопливости. Там читалось нечто большее: готовность подхватить, если я вдруг пошатнусь. Я посмотрел на нее — и в этом взгляде застыл невысказанный вопрос, тяжелый, как камень на дне реки. Лилия ответила мне взглядом, в котором не было жалости, но было тихое, бережное понимание.

Тонкий клинышек света лег на ее лицо, вычертив строгие, но удивительно живые очертания: жесткую линию губ, в которой угадывалась и сила, и скрытая чувственность. Потом она чуть сдвинулась в тень — и свет оставил лишь переносицу да наклоненные черные ресницы, будто застывшие в напряженном ожидании.

Она сидела абсолютно прямо, словно осанка была ее доспехом. Плечи чуть отведены назад — не нарочито, а так, как сидят перед схваткой: собранно, настороженно. В этой собранности не было позерства — только тревога, проступавшая сквозь каждую черту, сквозь каждое движение. Даже под белым халатом, растворявшимся в полутьме палаты, чувствовалось, как напряжено ее тело, — будто она держала невидимую линию обороны не только для себя, но и для меня.

Ее лицо словно поблекло, черты обострились, стали резче — будто боль другого человека на мгновение стала ее собственной. Это было сильное, оглушающее переживание, и я видел, как оно проходит сквозь нее волной. А потом она улыбнулась — и в этой улыбке мелькнули сразу и печаль, и жалость, и какое-то горькое понимание.

— Иван, скажи… только честно, без этой нашей привычной брони из вежливых слов, — голос Лилии прозвучал так, будто она боялась спугнуть саму возможность правды. — Неужели ты и правда считаешь, что это справедливо?

Я не ответил сразу. В груди что-то сжалось, как узел, который затягивают медленно, чтобы боль чувствовалась отчетливее. Секунды тянулись, и в этой тишине слышалось все: и скрип старой кровати, и далекий гул коридора, и то, как внутри меня рушится что-то старое, привычное, казавшееся незыблемым.

— Нет, — наконец выдавил я. Слово вышло сухим, шершавым, будто царапнуло горло. — Не считаю. И знаешь, хуже всего не сама несправедливость. Хуже то, как легко она прячется

за обыденностью. За фразой, брошенной мимоходом. За взглядом, в котором уже нет человека — только случай в журнале.

Лилия чуть наклонила голову, будто пыталась разобрать не слова, а то, что пряталось между ними.

— Я не ждал от нее такого, — продолжил я, и голос мой вдруг стал тише, почти чужим. — Думал, годы должны чему-то учить. Не хитрости, не умению прятать злость за улыбкой, а чему-то настоящему. Умению видеть, как больно другому. Умению остановиться за мгновение до того, как ранишь.

В голове всплыла та самая притча — та, которую я ненавидел за ее беспощадную простоту. Скорпион и лягушка. Река. Обещание. Укус посреди воды. «Потому что я — скорпион». И эта фраза, такая короткая, вдруг накрыла меня всей своей тяжестью, будто я только сейчас по-настоящему понял ее смысл.

Я провел ладонью по лицу, словно хотел стереть с себя это понимание, но оно не стиралось.

— Понимаешь, — сказал я, глядя куда-то в угол, где тень ложилась особенно густо, — страшнее всего не злоба. Страшнее — когда человек принимает свою жестокость как часть себя. Когда перестает даже пытаться быть лучше. Когда решает, что его природа — это оправдание. Это как признать: я такой, и пусть мир подстроится. А мир не подстраивается. Он просто становится холоднее.

Лилия помолчала, и в этом молчании не было неловкости — была та редкая тишина, когда два человека слышат друг в друге не слова, а боль.

— Иногда мне кажется, — тихо произнесла она, — что мы все носим внутри себя эти маленькие клетки. И время от времени кто-то из нас открывает дверцу и выпускает наружу то, что там сидело. Кто-то выпускает страх. Кто-то — обиду. А кто-то… выпускает скорпиона.

Я горько усмехнулся:

— И самое страшное — что потом они начинают гордиться этим. Будто сила — в том, чтобы никого не жалеть. Будто неспособность сострадать — это знак избранности.

За окном медленно темнело. Свет из коридора падал на пол узкой желтой полосой, и казалось, что она делит комнату на две половины: ту, где еще можно было верить в хорошее, и ту, куда уже добралась правда.

— Но знаешь, — вдруг сказал я, поднимая глаза, — я не хочу становиться таким. Не хочу, чтобы моя боль превращалась в оружие. Не хочу оправдывать равнодушие тем, что мир жесток. Потому что если мы все так сделаем, то от мира ничего не останется. Только эхо чужих ран.

Лилия кивнула, будто услышала именно то, что давно ждала. И в ее взгляде мелькнуло что-то похожее на облегчение — не от того, что все стало проще, а от того, что кто-то не побоялся назвать вещи своими именами.

Жизнь будто хлестнула меня прямо в лицо моими же собственными убеждениями — и любые слова после этого казались не просто лишними, а почти кощунственными. Внутри все кипело, бушевало, как шторм в тесной комнате, но милосердие и вежливость, эти тихие тюремщики, сковали язык, не давая вырваться горьким, обжигающим словам. Я так и не рассказал заведующему отделения о случившемся — о том, что стало неизбежным финалом целой череды событий, медленно, но неумолимо подводивших к этой точке.

Череда мелких уступок, полуправд и сознательно закрытых глаз в итоге привела к тому, что нельзя было ни исправить, ни забыть. Эти решения, когда-то казавшиеся безобидными компромиссами, теперь стояли между мной и прошлым, как глухая стена.

«Помощь и прощение без разбора не растят человека. Они его развращают», — эти слова звучали в голове, словно приговор, который я боялся произнести вслух. Я будто обращался к невидимым собеседникам, пытаясь оправдать собственное молчание, искал в пустоте хоть

какое-то подтверждение, что поступил правильно. Но тишина отвечала мне лишь эхом сомнений.

Разумеется, в этой профессии немало тех, о ком говорят с придыханием, чьи имена произносятся почти с благоговением. Но одна лишь мысль о том, сколько рядом людей, способных быть по-настоящему бесчеловечными, рождала во мне глухую, тяжелую тоску — ту самую, что оседает где-то под ребрами и не дает дышать свободно. Порой люди бывают страшнее зверей — не из-за грубой силы, а из-за холодной, расчетливой точности, с которой они ломают чужие судьбы, будто разбирают хрупкий механизм, не задумываясь о том, соберут ли его снова.

За годы, миновавшие с того времени, я не раз возвращался к тем событиям в мыслях — и всякий раз приходил к одному и тому же выводу: противник, с которым мне довелось столкнуться тогда, не стоил ни борьбы, ни победы. Он не был достойным врагом, не заслуживал ни моего гнева, ни моих усилий. Моим настоящим врагом оказалась не злая воля, а серая вата — бесформенная, мягкая, почти незаметная, но упорно лежавшая на моем пути. Она не сопротивлялась, не бросала вызов — она просто была, заполняя пространство, мешая двигаться вперед, размывая границы между правильным и допустимым, стирая очертания смысла. И бороться с ней было тяжелее всего: ведь нельзя нанести удар по тому, что не имеет очертаний, нельзя победить то, что притворяется ничем.

Многие больные с подобной травмой, как у меня, и хорошим прогнозом замыкаются на своей беде, погружаются в уныние и перестают работать над собой. Открою вам маленький секрет: стремление избежать боли заложено в человеческой природе, и это стремление поддерживается самой нервной системой — ведь это древний механизм выживания. Поэтому каждый раз, когда человек собирается сделать что-то сложное, преодолеть себя, мозг старается не допустить боль всеми силами, выстраивая барьеры из страха, усталости и сомнений. Уныние — это входные ворота для целого комплекса проблем, тихий предатель, который открывает дверь всему остальному.

Приведу вам одну притчу — она врезалась мне в память, как зарубка на дереве. Называется «Главное орудие дьявола».

Много лет назад дьявол решил похвастаться и выставил на всеобщее обозрение все инструменты своего ремесла. Он аккуратно сложил их в стеклянной витрине и прикрепил к каждому ярлык — чтобы все знали, что это такое и какова стоимость каждого из них. Что это была за коллекция! Здесь были и блестящий Кинжал Зависти, и тяжелый Молот Гнева, и коварный Капкан Жадности. На полочках, на мягких бархатных подушечках, были с любовью разложены все орудия Страха, Гордыни и Ненависти. Каждый инструмент сверкал, внушая ужас и восхищение одновременно, и посетители ада замирали перед этой витриной, пораженные изощренностью зла.

А на самой дальней полке, почти в тени, лежал маленький, неказистый и довольно потрепанный деревянный клинышек. Его ярлык гласил: «Уныние». И, на удивление, он стоил больше, чем все остальные инструменты, вместе взятые.

Когда кто-то спросил дьявола, почему он так высоко ценит этот невзрачный предмет, тот лишь тихо усмехнулся и с какой-то странной нежностью погладил клинышек.

— Это единственный инструмент в моем арсенале, на который я могу положиться, если все остальные окажутся бессильными, — проговорил он почти шепотом. — Но если мне удается вбить его в голову человека, он открывает двери для всех остальных инструментов.

И в этом шепоте было больше ужаса, чем в звоне всех кинжалов ада.

Наркоз и обезболивающие — лишь короткая передышка, обманчивый островок тишины перед бурей. А потом приходит боль — та самая, упрямая, не желающая сдаваться, будто намертво вцепившаяся в тело. Она ломает людей не хуже ударов судьбы: одни под ее тяжестью сгибаются, другие учатся стоять даже тогда, когда кажется, что стоять уже незачем.

Бездействие — это тоже рана, только тихая, ползущая, разъедающая изнутри. Оно убивает медленно, почти незаметно, день за днем отбирая надежду. Проблемы с движением не исчезнут по щелчку пальцев. К этому нужно быть готовым сразу: впереди — долгий, изнурительный путь, где каждый шаг будет стоить усилий, а каждый день — маленькой битвы.

Но именно здесь, на этой грани, решается все. Нельзя позволить отчаянию пробраться внутрь, пустить корни. Слабина в такой момент страшнее самой боли: она способна свести на нет и муки, через которые ты прошел, и титанический труд врачей, и каждую каплю пота, пролитую в попытках сдвинуться хоть на миллиметр.

Важно видеть не только то, что болит сегодня, но и то, что уже получилось вчера. Для этого можно вести дневник — простую хронику дней, где строчка за строчкой будет складываться твоя собственная история борьбы. Когда внутри все кричит, что ничего не меняется, достаточно открыть эту тетрадь и посмотреть назад: вспомнить себя в больнице месяц или два назад, того, кто едва мог пошевелить пальцем. И тогда вдруг станет видно — пусть крошечный, почти незаметный, но все же прогресс. Он есть. Он реален.

Реабилитация — это работа. Тяжелая, беспощадная, требующая времени, которое приходится вырывать у собственной усталости. Каждый день на нее нужно тратить часы, отдавая их целиком, без остатка. Если не знаешь, с чего начать, если теряешься в лабиринте упражнений и сомнений — есть врачи-реабилитологи. Они помогут составить программу, покажут, куда ставить ногу, как дышать, как не сломаться. Главное — не бросить все на финишной прямой, когда силы уже на исходе, а победа кажется призрачной.

Я старался не падать духом. Говорил с друзьями, снова и снова повторял, что скоро встану с кровати и пойду. Мы даже строили планы — простые, земные: выпить кофе в той самой кофейне, пройтись по набережной, никуда не торопясь. Слова эти были нужны мне как воздух: они удерживали на краю, не давали скатиться в черную яму отчаяния.

А в их глазах я видел другое. Они старались улыбаться, вселять бодрость, кивали, слушали, будто верили каждому моему слову. Но сквозь эту старательную улыбку проглядывала жалость — тихая, неловкая, от которой становилось еще тяжелее. Потом они уходили по своим делам, оставляя меня наедине с болью, с тяжелыми мыслями и этой неумолимой, белой, словно поседевшей от тишины, больничной палатой.

Боль — часть роста. Жестокий, но честный учитель. Нужно двигаться вперед, даже если каждый шаг отдается огнем, уходить от того, что причиняет страдания, но никогда не выбрасывать урок, который она преподает. Ведь боль бывает разной: одна калечит, ломает, стирает в порошок. Другая — меняет. Переплавляет. Делает тебя другим. И именно эта вторая боль, хоть и не менее острая, в конечном счете становится дорогой к свободе.

Глава 2. Сила материнской любви

Она вошла без стука — сестра в накрахмаленном халате, от которого пахло спиртом и усталостью, — и бросила слова, не поднимая глаз: «После десяти вечера — ни глотка, ни крошки. Утром операция». Слова скатились с нее, как капли со стекла, и утонули в тишине палаты. А я уже знал цену этим словам. Я давно научился читать между строк белых халатов.

Мое тело стало полем битвы, на котором врачи сражались с тем, что осталось от меня прежнего. Операции сменяли процедуры, кровь вливалась в вены, чтобы я снова мог отдать ее обратно — капля за каплей, раз за разом. И каждый раз я поднимался на этот стол слабее, чем в прошлый. Меня везли по коридорам, как агнца на заклание, и в эти минуты где-то внутри меня умирала еще одна частица надежды — тихо, без крика, просто переставая дышать.

Но боль — она оставалась. Она была единственной, кто никогда меня не покидал.

Остеонекрэктомия — красивое слово, почти музыкальное. Оно означает, что из тебя вырезают мертвую кость, чтобы ты мог жить. Мне было не до красоты слов. Я видел свои ноги — впервые без бинтов — и не узнал их: там, где были мышцы, зияли впадины, и кость смотрела на мир белым, безжалостным взглядом. Три месяца кровь уходила из меня открытыми ранами, не спрашивая разрешения. Иссечение грануляций — еще одна музыкальная фраза, за которой прятался нож, входящий в живую плоть без наркоза, потому что наркоз давно перестал быть для меня милостью. Препараты сдавались один за другим, как солдаты, не выдержавшие осады. Даже плацебо — эта маленькая ложь, в которую так хочется верить, — не могло обмануть мою боль.

Перевязки. Каждый день — один и тот же ритуал пытки. Бинты въедались в кожу, как ревнивые любовники, и их отдирали живьем. Каждый виток — ручей крови, каждое движение — крик, который я зажимал в зубах мотком марли, чтобы не надорвать грудь. Я навсегда запомнил свой собственный голос, умоляющий о «водичке», — так я называл момент, когда бинты снимали с мясом. Слово «боль» — жалкое, выхолощенное слово. Я жил там, где слова заканчиваются, где начинается территория, для которой у человеческого языка не нашлось названия. Слезы приходили сами, но я учился прятать их, как прячут самое дорогое от грабителей.

А потом случилось чудо, замаскированное под процедуру. Меня решили замочить в ванне, чтобы вода сделала то, что не могли сделать руки. Кристаллы перманганата калия окрасили воду в цвет моей памяти. Незнакомец лет тридцати — из соседней палаты, чужой человек с добрыми руками — довез меня до перевязочной. Не это ли называют сердечной добротой? Я думаю, да. Я думаю, доброта — это единственное оружие, которое остается у человека, когда все остальное отобрано.

Вода быстро стала темно-красной — от грязи, от крови, от того, что я отдал в нее без остатка. И до сих пор, спустя годы, когда я принимаю ванну, мое тело вспоминает ту воду. Оно протестует, возвращает меня в процедурный кабинет, и я снова перевожу дух, я снова прихожу в себя. Но я прихожу. Это главное. Я всегда прихожу в себя

На протяжении всего этого времени я поддерживал связь с родителями по телефону — каждый разговор был словно натянутая струна: и держаться надо, и порвать боишься. Конечно, родители слышали мой охрипший голос и всякий раз встревоженно спрашивали, что со мной. Я отмахивался, бормотал что-то про простуду, мол, от нее и голос сел.

Их неведение о том, что на самом деле творилось в моей жизни, отчасти питалось моей привычной сдержанностью — я и в детстве не любил вываливать все подряд, берег свои переживания как что-то слишком личное. Но теперь за этой замкнутостью стояло куда более сильное чувство: я просто не хотел их расстраивать. Мысль о том, как они отреагируют, сковывала

язык крепче любого страха. «Что будет с ними, если они увидят меня таким?» — эта фраза крутилась в голове, обрастая новыми, все более мрачными подробностями.

И каждый раз, когда я прокручивал эти мысли, на губах появлялась необычная горечь — словно у тревоги есть свой привкус, едкий и терпкий, будто от полыни. Она оседала где-то в горле, смешиваясь с хрипотцой, и делала ложь про простуду еще тяжелее. Я старался говорить бодрее, вставлять в разговор какие-нибудь пустяки — про погоду, про соседей, про то, что в магазине рядом с домом наконец починили крыльцо. Эти мелкие детали должны были служить ширмой, прикрывать то, о чем я молчал. И, кажется, родители цеплялись за них, как за спасительные ниточки, и делали вид, что верят. А я делал вид, что все в порядке. И в этом взаимном притворстве было что-то до боли хрупкое — будто мы балансировали на тонком льду, боясь одним неверным словом проломить его.

Дни я проводил лежа. Осознание того, что если так и будет продолжаться, то я останусь овощем, пришло ко мне спонтанно. Очевидно, что-то перевернулось у меня в голове. Я словно проснулся во всех смыслах этого слова. Тогда я до конца осознал, что легко из сложившейся ситуации, связанной с моим здоровьем, мне уже не выйти, и сообщил родителям о тяжести происшедшего.

А куда денешься? Правду не обойдешь стороной.

Был полдень, солнце светило ярко. Я увидел, как открылась дверь в палату, через порог переступили мои родители. На мгновение они оторопели, взглянув на меня с укором, который я вполне заслуживал. В палате установилась тишина, никто долго не решался ее нарушить. Лица их так побелели, что почти слились со стенами, и взгляд их стал наполнен такой печалью, что мне стало не по себе. Я поймал себя на том, что старался отвести глаза, потом через силу посмотрел матери прямо в лицо и произнес:

— Привет, — протянул я ей руку, худую и бледную, будто в ней уже не осталось собственной силы, а лишь эхо былой жизни. И с удивлением поймал себя на том, что слова теперь пробиваются сквозь какой-то вибрирующий барьер в горле — словно голос мой стал чужим, и даже язык не сразу слушается, будто каждое слово приходится добывать из глубины, где все давно осело тяжелым осадком.

Молчание, которым она ответила, было не просто тишиной — оно разверзлось, как бездонная яма, куда можно бросить хоть крик, хоть молитву, хоть целую судьбу, и не услышать ни малейшего отзвука. В этой тишине не было равнодушия — в ней была тяжесть понимания, слишком большого, чтобы облечь его в слова.

Моим родителям, конечно, досталось. Особенно маме. После того как она увидела меня в больнице, в ее мире словно сместились все опоры: привычные решения больше не работали, привычные слова — не помогали. Я мог бы и не смотреть на нее, чтобы почувствовать, как ей тяжело: руки вздрагивали от малейшего движения, а в глазах застыло то особое выражение, какое бывает у человека, который готов встать между любимым и самой смертью — и не отступить, даже если не знает, чем сражаться.

Она судорожно искала хоть какой-то образ этой битвы, хоть какие-то правила, хоть оружие, которым можно было бы ударить по беде. Но беда оказалась не врагом, с которым можно сойтись лицом к лицу, а густым, плотным туманом — тем самым, в котором не видно ни дороги, ни врага, ни даже собственных рук. Она привыкла встречать жизнь смело, принимать решения, брать ответственность — но тут перед ней было нечто, чему нельзя было дать имя, что нельзя было схватить, с чем нельзя было договориться. Это бессилие было для нее почти физически болезненным: оно лишало ее привычной силы, делало чужой в собственном теле и в собственном разуме.

Раньше ее нежность была такой естественной, что казалась частью воздуха, которым мы дышали: она смотрела на нас так, будто каждый взгляд — это тихий поцелуй, будто даже молчание ее было объятием. В ее улыбке жила особая ирония — не над другими, а над самой

собой, над своими слабостями, над тем, как мало она порой могла сделать, несмотря на все свое желание помочь. Но теперь эта улыбка будто стерлась, словно кто-то осторожно снял с нее маску, под которой обнажилась чистая, ничем не прикрытая печаль. Лицо стало чужим — бледным, застывшим, лишенным той самой живой теплоты, которая всегда согревала нас.

Я смотрел на нее и думал: как странно устроена любовь — она не становится меньше от бессилия, она только делается тяжелее, потому что давит не на плечи, а прямо на сердце. И в этом ее бессилии была даже какая-то особая сила: ведь она все равно пыталась что-то делать, все равно искала выход, все равно боролась с тем, с чем невозможно бороться.

А во мне тем временем поднималась другая тяжесть — острая, колючая, разъедающая изнутри. «Что же ты, парень, натворил!» — сказал я себе, и вздрогнул, будто от удара. На мгновение меня накрыло чувство, пережить которое и не сломаться почти невозможно: ненависть к себе, особенно мучительная оттого, что какая-то часть меня отказывалась ее принимать, сопротивлялась, кричала, что это несправедливо, и этим только усиливала горечь.

Мы часто говорим себе: «Посмотри, что я натворил», будто тем самым берем на себя ответственность, будто это первый шаг к искуплению. Но ответственность — не в том, чтобы терзать себя, а в том, чтобы найти в себе силы смотреть правде в глаза, даже когда от этого больно. Раскаяние мое было недолгим — слишком много вокруг было вещей, на которые стоило смотреть прямо, а не прятаться в чувство вины.

Я старался улыбаться, хотя улыбка получалась неловкой, почти чужой. Родители еле сдерживали слезы, но все равно подбадривали, все равно старались вложить в свои слова столько надежды, сколько могли. Им приходилось быть сильнее, чем они себя чувствовали, — и в этом тоже была своя тихая доблесть.

Всего двадцать пять. Жизнь только начинала раскрываться, как книга, страницы которой еще пахнут свежей типографской краской, ая вдруг оказался заточен в собственном теле — будто кто-то закрыл дверь и оставил меня наедине с тишиной, в которой слышно только, как бьется сердце.

Мама потом скажет, что мои глаза были словно присыпаны пеплом — в них поселилась та самая смертная тоска, которую трудно вынести даже тому, кто смотрит со стороны. Пепел — это ведь не просто зола. Это то, что остается от огня, когда он уже отгорел, когда пламя сделало свое дело и ушло, оставив только серую, тихую память о себе. Так и я: внутри меня все еще тлел невидимый жар, но наружу пробивался лишь пепел — слой за слоем, на губах, на подушечках пальцев, на краешках мыслей. И мама видела его, конечно, видела, потому что мать видит то, чего не видят остальные — не глазами даже, а той частью себя, которая когда-то носила тебя под сердцем.

Но в ее словах не было упрека. Вообще ничего, что можно было бы назвать судом. Только боль, только бесконечная, тихая любовь, которая не спрашивает, за что и почему, а просто остается рядом — даже когда кажется, что уже ничего нельзя сделать, даже когда все, что можно сделать, давно перестало иметь значение. Любовь матери похожа на гравитацию: она не выбирает, не рассуждает, не требует награды за верность. Она просто держит. Держит так крепко и так незаметно, что ты начинаешь понимать ее силу только в тот момент, когда падаешь — и не падаешь. И, может быть, именно в этом и есть главный смысл всего: не в том, чтобы победить беду, а в том, чтобы не дать ей победить любовь. Победа — это то, что случается снаружи. Любовь — то, что случается внутри, даже когда снаружи все уже проиграно.

Какие-то моменты я почти не помню. Наркозы выметали память, как метлой выметают пепел из остывшей печи, — и в голове оставались только какие-то нафантазированные мысли, в которых я сам же и участвовал, как актер в чужом сне. Мне казалось, что между сменами событий, происходящих у меня в голове, меня осматривали врачи и мама; они каждый раз что-то говорили, будто я больше не выдержу, будто следующее мгновение станет последним, которое я смогу удержать. А на самом деле это просто удаляли некротизированные ткани —

слой за слоем, до визуально жизнеспособных, — и хирургический нож каждый раз отрезал от меня еще один кусочек того, кем я был раньше. И после наркозов я, придя в себя, все еще мало что понимал: тело опережало разум, и где-то между ними, в этой темной щели, я болтался, как лодка без якоря.

Через несколько дней я немного начал соображать: говорить, есть, пить, кричать. Кричать — это было важно. Крик возвращал меня в этот мир, заставлял звучать там, где иначе стояла бы только звенящая тишина. Но стоило мне уснуть — и я словно проваливался в другой мир, и это была очередная затянувшаяся волна галлюцинаций. Сон и бодрствование для меня практически слились: граница между ними стерлась, как стерлась граница между мной и тем, кем я уже не был. Видения из сна я видел словно в действительности — они приходили ко мне с той же плотностью, что и стены палаты, и столь же реальные руки, и столь же реальные голоса. Они преследовали меня: в них меня пытались убить, уродовали, калечили, травили — и всякий раз оставляли мне на принятие решения один-единственный выбор: жизнь в страданиях или смерть.

И там, в этих жарких, липких, бесконечных сумерках, я выбрал смерть.

Морально я был настолько измучен, что в галлюцинациях только и проговаривал: «Добейте уже меня, добейте». Слова эти не были ни мольбой, ни жалобой — это была усталость, сгустившаяся до голоса. Если бы я мог тогда встать с кровати и если бы рядом не было матери, я бы попытался дойти до окна и выпрыгнуть — настолько мне было плохо. И в этом признании нет ни капли гордости, ни тени героизма, потому что суицид — это не смелость и не трусость, это просто последняя и самая отчаянная попытка тела прекратить то, что оно больше не в силах выносить. Это ампутация, которую человек делает сам, когда вся остальная жизнь уже превратилась в сплошную боль.

Перед этим хотелось — при наличии духа, последним своим сознательным действием — подвести черту, завершить все земные дела так, как будто я могу придать им какую-то форму. В присутствии всей своей семьи я бы обхватил мать за голову и, притянув ее ухо к своему рту, сказал бы слово «прощайте». Одно это слово, в котором поместилась бы вся моя благодарность и все мое сожаление, — потому что не бывает прощания без прощения, а прощения без любви. Затем, нащупав руку брата, я положил бы на нее свою руку; затем, нащупав руку сестры, положил бы ее руку на руку брата; руку отца положил бы на руку сестры, на руку отца — руку матери, а поверх всех рук положил бы свою. Как венок из живых рук, как самый простой и самый древний обет, который только знает человек. И я думаю, что никогда в жизни я бы не увидел ничего более прекрасного, чем это: семья, собранная в один узел, семья, в которой каждый держит каждого, а я — поверх всех, в самой середине любви.

Кто станет осуждать близкого своего за его страдания? Кто знает предел чужим силам — тот предел, за которым человек перестает быть собой и превращается просто в узел боли? Никто не знает. Никто не вправе знать, потому что чужая боль всегда живет в доме с закрытыми ставнями, и заглянуть туда можно только с разрешения.

Для меня и сейчас мысли тех дней — положительный отпечаток, когда я думаю о последнем в жизни поступке. Странно, но так и есть: в самой темной точке моей жизни я обнаружил самое ясное, самое чистое, что во мне было. Ведь приходит время, и для нас все меняется, мы ничего не можем с этим поделать, и случается то, о чем мы и помыслить не могли. «Нам останется лишь быть совершенно безупречными в самих себе…» — как сказал американский писатель Карлос Кастанеда. И если бы ваш организм превратился в развалину, приносил бы только муки и стал бы, по сути, бесполезным, — как вы думаете, имел ли я причину не хотеть жить дальше? Что бы вы делали в такой ситуации, в конце своего физического существования, чтобы жизнь и ваше дело не были напрасны?

Но я не переступил. Я дошел до той самой черты — и остановился. И, наверное, именно мать стала той границей, через которую я переступить не смог. Не потому, что не хватило силы

— силы как раз хватило бы на все. А все потому, что, когда у человека есть хотя бы один человек, который до самого конца будет держать его руки поверх своих — крепко, не отпуская, будто этим касанием можно удержать и саму судьбу, — этот конец перестает быть выбором. Он становится просто дорогой, которую проходят вдвоем, и даже тьма уже не кажется такой непроглядной, потому что пальцы рядом не дают сорваться в пустоту.

Он становится просто еще одним днем, который надо пережить. И я пережил. Мы пережили. Потому что любовь, когда ее некому победить, в конце концов побеждает сама.

Бессилие сковывало все тело — я уже не мог удержать в пальцах даже ложку. Мать кормила меня куриным бульоном, осторожно помогая повернуть голову; я невольно морщился от боли, и каждый ее жест отзывался во мне острой вспышкой. Она осталась со мной в больнице — ей разрешили не покидать палату, чтобы, очнувшись, я сразу видел родное лицо. Ни днем, ни ночью она не отходила от моей постели. Все, что советовали врачи, она выполняла с тихой, непреклонной дисциплиной.

Сквозь пелену сна до меня доносилось ее прикосновение: она гладила меня по голове и шептала что-то нежное — слова, которых я не разбирал, но которые согревали, как теплый свет в темной комнате. А перед тем, как я окончательно проваливался в сон, она целовала меня — этот поцелуй был хрупким, словно капля росы, и я старался удержать его сладость, будто от этого зависела сама возможность дышать. В те дни, когда боль становилась невыносимой, а душа съеживалась от беспомощности, именно эта нежность была моим якорем.

Ее лицо, такое прекрасное и бесконечно близкое, светилось тихой решимостью. Она держала меня за руку, стараясь унять мои слезы, и в этой мягкости было столько силы, что она пугала меня. Мне казалось, что я не заслуживаю такой доброты — что ее гнев был бы мне легче вынести, чем эту бесконечную, терпеливую нежность, знакомую мне с детства. Я чувствовал себя виноватым в каждой новой морщинке на ее лице, в каждом седом волоске, будто сам прочертил их своей ошибкой, своей бедой. От этой мысли слезы подступали снова, и я видел, как она, изо всех сил стараясь держаться, едва сдерживает собственные рыдания.

Она плакала тихо, украдкой — от счастья, что сын остался жив. В воздухе витала особая, почти невесомая нежность, словно сама тишина научилась быть ласковой. Она звала меня «сын», и в этом слове было столько прощения, сколько не вмещает ни одна человеческая память. Я давал себе призрачные обещания, клялся, что все исправлю, но где-то в глубине души знал: легкая обида все равно останется, притаится где-то рядом, едва я закрою глаза. И правда была безжалостно проста: именно я стал причиной ее боли. Человек, которого я так отчаянно искал, чтобы обвинить, оказался тем, кто смотрел на меня из зеркала каждый день.

Как поддержать того, чье сердце разрывается от страха за ребенка? Как найти слова, когда любое «все будет хорошо» звучит как ложь, потому что никто не знает, как сложится завтра? «Мы с вами, держитесь!» — эти фразы повисают в воздухе, бессильные перед настоящей болью. Никто не поймет, что чувствует мать, когда жизнь ее ребенка висит на волоске. Для нее все остальное — мелочи, пыль, не стоящая внимания. Наверное, в этом и есть суть материнской любви: она отдает себя без остатка, потому что в ребенке видит продолжение своей крови, своей жизни, своего бессмертия.

Так странно и мудро устроена жизнь: конец становится началом, начало — продолжением, и все сплетено в один неразрывный узор.

В словах, что веками звучат над миром, есть особая сила — они будто высечены в самой ткани бытия: «Не бойся, только верь». Словно древний наказ, они возвращаются к человеку снова и снова, в каждом вздохе времени, в каждом повороте судьбы. Слово — могучее средство опоры: в нем душа раскрывается и, встречаясь с другой душой, обретает новые силы.

Говорят, эти слова повторяются в священных текстах 365 раз — словно ежедневный дар, предназначенный каждому: и богатому, и бедному, и здоровому, и немощному, и ребенку, и взрослому. «Не бойся», — будто звучит сквозь века, обращаясь к царям и простым людям, к

тем, кто потерял надежду, и к тем, кто еще верит, что ее можно найти. У каждого свой страх, своя тревога — тихая или оглушающая, свой узел сомнений, стягивающий душу. Но утешение остается неизменным, как рассвет, который приходит независимо от того, ждет его кто-то или нет.

История хранит множество свидетельств того, как эти слова преображали судьбы, возвращая людям утраченную опору. Агарь, рыдавшая в пустыне над умирающим от жажды сыном, вдруг увидела колодец — и в этом видении обрела не просто воду, а спасение, дарованное в самый отчаянный миг. Иосиф, преодолев сомнения и страх перед осуждением, принял Марию, носившую во чреве ребенка, — и тем самым стал частью великого замысла. Моисей и его народ, казалось бы, обреченные на гибель, одержали победу в сражении — не силой оружия, а силой доверия. Захария, скованный сомнением, получил ответ на свою мольбу о рождении сына, и тишина его недоверия сменилась ликующим словом. Дочь начальника синагоги Иаира воскресла по слову — и эта минута стала вечностью, вмещающей в себя всю силу надежды. Пётр, дрожавший от страха, обрел призвание — и из колеблющегося ученика превратился в опору, на которой строится вера в лучшее.

Еще один яркий пример — Анна, которая годами приходила к храму со слезами, моля о даровании ребенка. Ее слезы не были криком отчаяния — они были молитвой, выточенной временем. И однажды, после долгих лет ожидания, ее мольба была услышана: ей не просто даровали сына, но и вверили миссию, изменившую ход истории.

Страх сковывает разум и парализует волю, заставляя нас видеть мир сквозь решетку тревог. Но стоит нам услышать «не бойся» — и взгляд на мир меняется, словно кто-то отодвигает завесу. Мы начинаем замечать то, что прежде ускользало от нашего внимания: тихий знак в обыденном, руку помощи в случайной встрече, свет там, где, казалось, царила непроглядная тьма.

Так как же обрести эту бесстрашную веру? Что значит «не бояться верить»? Думаю, суть — в доверии, глубоком и целостном, когда сердце перестает торговаться с судьбой и учится слышать. Исцеление приходит вопреки всем обстоятельствам, даже если логика и опыт будут твердить обратное.

Надежда — не беспечная уверенность в благополучном исходе, а мужество идти вперед, даже когда путь скрыт туманом. Однако важно помнить: нельзя считать поддержку чем-то само собой разумеющимся, ожидать, что она непременно проявится в нашей жизни в виде здоровья, благополучия или сил в час испытаний. Ожидание помощи как гарантированного вознаграждения подменяет доверие расчетом, а искреннюю просьбу — счетом.

В этом кроется глубокий смысл народной мудрости: «На Бога надейся, а сам не плошай». Эти слова — не призыв к неверию, а напоминание о том, что человек не вправе перекладывать на высшие силы всю ответственность за свой путь.

Превращать просьбу в список земных требований — все равно что пытаться измерить безмерность океана чашей: это не просто тщетно, это признак духовной незрелости, неспособности видеть за просьбой нечто большее.

Этика подлинного доверия воплощается в простых, но исполненных глубины словах: «Да будет воля Твоя». Даже в самой известной молитве мы просим лишь о «хлебе насущном» — не о роскоши, не об избытке, а о самом необходимом для жизни. В этой сдержанности просьбы таится великая мудрость: она учит ценить то, что действительно нужно, и не гнаться за призрачным и мнимым.

Молитва становится символом принятия мира. Как будто мудрец, склоняясь перед величием природы, тихо произносит: «Дай что хочешь и возьми что хочешь». В этих словах — не слабость, а глубокое смирение, признание сложности мироустройства и умение принимать мир таким, каков он есть.

Мудрость приходит дорогой потерь: богатство — это тоже испытание, и порой самое коварное. Оно умеет тихо опутывать цепями гордыни, убаюкивать сознание, пока сердце не теряет способность слышать чужую боль. Бывает, что самое желанное не сбывается, — и в этом не равнодушие мира, а его странная, суровая забота: уберечь от того, что в итоге оставит внутри пустоту.

Путь — не в ожидании милостей, а в ежедневной работе над собой: развивать то, что тебе дано, идти прямо, не сворачивая туда, где ложь кажется удобной. Просить у жизни не благ, а сил и ясности, чтобы держать свой груз и не уронить его. И когда главное — не блеск и не выгода, а чистота собственного шага, остальное приходит само, не как награда, а как естественное следствие верного ритма.

Проснусь — и сразу чувствую ее прикосновения. Открываю глаза и вижу мамино лицо, ее нежную улыбку, что расцветает, будто первый луч рассвета. После каждой операции эти улыбки были моим якорем — они ободряли, вливали в меня силы, которых, казалось, уже не осталось.

Жить — это порой титанический труд: нужно собирать себя по крупицам, учиться радоваться мелочам, не дать темноте сомкнуть над тобой крылья. И чаще всего единственной причиной, ради которой хочется открывать глаза по утрам, становятся те, кто рядом. Слишком долго я жил под гнетом страха — он стал моим молчаливым спутником, застывшим отражением на воде, что ходила рябью. Я всматривался в него, словно в кривое зеркало, и тихо оправдывал свои слабости, отпускал себе грехи, будто торговался с собственной тенью. Но теперь рябь понемногу стихает, гладь воды выравнивается, и отражение напротив обретает новые очертания — не прежние, искаженные, а спокойные, ясные, будто впервые готовясь отразить меня настоящего в свете нового дня.

Забегу вперед: со временем я понял одну простую вещь. Сила — не в том, чтобы сокрушать одним взглядом. Сила — в улыбке, способной поднять с колен, в тихом слове, что звучит громче любых клятв. Дарите друг другу улыбки и добрые слова — в них прячется чудо. Они умеют превращать обычный день в солнечный, возвращать сердцу легкость, которой так не хватает.

Все вокруг казалось сном, зыбким и нереальным, будто я наблюдал за собой со стороны. Потому следующую фразу я выговорил почти бессознательно, словно она сорвалась с языка сама:

— Мама, иногда я чувствую себя не таким, как вчера. Будто внутри что-то сдвигается, перестраивается.

Не знаю, сумел ли я облечь в слова всю глубину этой перемены, но по маминому взгляду понял: она слышит не только слова — она слышит то, что прячется между ними.

— Все меняются, сынок. Каждый день мы становимся чуть другими. Но всех нас ждет одно и то же — просто дороги у всех разные. У тебя свой путь. Собери все силы, что есть в твоей душе, выстрой их, как солдат перед маршем. Пусть они будут готовы к дороге.

Спасибо ей за эту ясность. За то, что умела одним словом расставить все по местам.

В те дни мне хватало малого: маминой улыбки, луча солнца на подушке. Казалось, даже воздух тогда был другим — он менял краски моих мыслей, перестраивал желания, как внезапный аккорд меняет тональность всей мелодии. Перемены накатывали без предупреждения: то легкая волна приподнимала меня, то вдруг все обрывалось, и в календарь моего благополучия врывался листок из совсем другого времени года. Порой весна по ошибке заглядывала в середину зимы — и тут же пробуждала во мне весенние мечты, желание жить легче, ярче. А иногда, наоборот, холодный ветер срывал с деревьев еще не созревшие надежды, и мир становился на полтона темнее. Но даже в этих перепадах была своя правда — правда жизни, которая не бывает ровной, как дорога по линейке, а вьется, петляет, то поднимает на гребень, то опускает в тихую бухту, где можно просто отдышаться.

Глава 3. Помощь друга

Пересадка

Лечение шло месяцами, и однажды пришел черед самого странного и самого честного дара, какой тело может сделать самому себе: врачи начали пересаживать мне мою же кожу. Снимали ее с тех участков, что уцелели, — и прежде всего укрывали ею ноги. Операций этих было несколько, аутопластик, как их называют сухим медицинским словом, за которым прячется целая война.

После каждой такой операции на донорских участках — на местах, где кожу взяли, — оставалась марля. А спустя несколько часов после хирургического вмешательства эту марлю щедро, под давлением, обильно смачивали из большого шприца (около ста пятидесяти миллилитров) концентрированным раствором марганцовки. Площади донорских участков были немалыми. Мне тогда казалось, что время замирает: так долго и так невыносимо тянулась каждая минута этой процедуры.

Не нужно объяснять, что делает марганцовка с человеческим телом, у которого больше нет кожи. Скажу только одно: есть боль, о которой лучше не знать, и есть боль, о которой невозможно забыть.

Мать, глядя на меня, была готова лечь вместо меня, лишь бы разделить эту боль, лишь бы мне стало хоть немного легче, лишь бы я поднялся с больничной койки. Она готова была вытерпеть за меня то, что я и сам не всегда понимал, как выдерживаю.

Самая мучительная часть приходилась на снятие повязки: высохшая кровь и сукровица намертво приклеивали бинт к ране, и каждый сантиметр отрывался вместе с криком. А пересадка кожи — это всегда игра с огнем: самое распространенное осложнение — лоскут, который не приживается. О реабилитации говорят в долгих сроках, и об успехе можно судить только тогда когда, новая кожа окончательно приживется. Часто это единственный путь сохранить человеку здоровье — и сохранить его самого.

После операции мне предстояло лежать почти неподвижно пять суток, с подвешенными ногами. Все это время рядом дежурили мать и жена брата, сменяя друг друга, чтобы дать второй отдохнуть. Боль после аутопластики нарастала с чудовищной силой, и чтобы хоть как-то ее притупить, им каждые пятнадцать — двадцать минут приходилось аккуратно приподнимать мои ноги за большие пальцы.

А потом выяснилось то, что прозвучало страшнее любой боли: лечебное учреждение оказалось не готово к травмам такого рода — у них не было нужных технических приспособлений. И первая пересадка сошла на нет, свелась к нулевому результату.

«Все это безумие временное, — говорил я себе. — Оно не может длиться вечно. Просто нам всем придется поработать немного усерднее, и все». А следом, как эхо из моей же головы, звучала чужая, но будто родная фраза Генри Форда: «Прежде всего в подготовке заключается секрет успеха».

Когда приближалась следующая операция, воздух в палате будто становился тяжелее, а тишина — гуще, словно сама реальность затаила дыхание в ожидании неизбежного. В эти минуты страх подступал особенно близко, царапал изнутри, шептал, что выхода нет, что все уже решено без меня. Но я не хотел сдаваться. Я попросил друга отыскать хоть какое-то техническое средство — хоть что-то, что могло бы стать опорой в этом шторме.

«Необходимость — мать изобретательности», — пронеслось в голове, и эта старая фраза вдруг обрела вес, стала почти молитвой. Пусть оно будет грубо сколочено своими руками, пусть несовершенное, угловатое, с торчащими краями и неровными швами — важно лишь, чтобы сработало. Чтобы дало хоть крошечный шанс.

Мы стояли перед выбором: опустить руки и позволить обстоятельствам сломать нас или собрать волю в кулак и придумать выход там, где, казалось, его быть не может. И тогда в силу

вступил древний закон: «Голь на выдумки хитра». Без нужных инструментов, без готовых ответов, без гарантий, что хоть что-то получится, мы начали вывертываться, цепляться за малейшие возможности, будто за соломинки в бурной воде. Шаг за шагом, слово за словом, идея за идеей — и постепенно сквозь хаос проступила линия решения. Она была тонкой, едва заметной, но настоящей.

К следующей операции, как я и просил, было изготовлено и принесено техническое приспособление. Оно прошло проверку, соответствовало медицинским стандартам, получило одобрение администрации лечебного учреждения. И в этом куске дерева и ткани, в этих простых, но выверенных деталях было больше, чем функциональность, — в них была воля, упорство, вера.

За это я бесконечно благодарен моему приятелю Александру Рогову. Он не терял во мне даже малой толики своей надежды. Он верил в мои душевные и физические силы тогда, когда я сам в них почти сомневался. И эта вера оказалась крепче любой стали — она держала меня, когда собственные ноги готовы были подкоситься.

Ему была присуща детская непосредственность и самокритичность, порой граничащая с виртуозной британской дипломатией. Мышцы его лица всегда говорили о полном превосходстве улыбки. За его улыбкой чувствовалась большая сила. Он всегда утверждал, что внутри любого человека есть спящие силы — силы, способные изумлять его самого, так как он зачастую и не подозревает, что обладает ими; силы, способные перевернуть жизнь, стоит их только вызвать из глубин и привести в действие. Александр навестил меня спустя пару дней после повторной операции по пересадке кожи. Стоял он посередине палаты, так и не сняв куртку, словно запутавшись в мире нереальном, никак не желавшем становиться реальностью. Я заметил ненормальной формы тень носа, легшую на стену от гостя, и следившие за мной неяркие глаза; рассеянный взгляд, тем не менее, был целеустремленным. Отойдя к окну палаты, он застыл возле него, вглядываясь в далекое небо над городом. Слабое красное зарево еще горело над краями домов, окрашивая плывущие по небу рваные облака. За окном то и дело проносились неясные силуэты ветвей, казавшиеся воплощением самого ветра. Я смотрел на него ничего не выражающими глазами, в которых не было ни тревоги, ни удовольствия, только одна остекленевшая пустота. Так и не найдя подходящих слов, Александр стал ходить по палате, гоняя свою тень с явным негодованием, широко разводил руками, переживая за результат своей работы. Его беспокойство было рождено незнакомым до сих пор чувством растерянности.

— Я рад тому, что ты взялся, именно тому, что взялся, это очень поможет, — заключил я с живой улыбкой.

Когда Александр ушел, мне стало казаться, что время в тишине палаты стало с большей гнетущей тяжестью давить на меня и липкой, полужидкой массой растекаться так неторопливо, что очень трудно было понять, часы прошли или минуты. Через несколько дней я позвонил ему:

— Александр, — произнес мой голос в телефонную трубку. Потерянная им секунда на то, чтобы вновь научиться умению дышать, сказала Александру, насколько много значит для него этот услышанный голос. Я считал, что потрясти его невозможно, но это оказалось не так.

— Приезжай сегодня вечером, посмотришь на результат своей работы. В шесть часов вечера. Я не стал даже гадать, почему мой голос так поразил его, но все обошлось каким-то мгновением, и он снова заговорил со мной ровным тоном.

Придя, он не поздоровался — словно мы расстались всего вчера и время не успело вклиниться между нами ни единой холодной гранью. Александр поймал на себе мой встречный взгляд и сощурился, будто пытался прочесть в нем то, что я сам еще не решился назвать вслух. В его лице было что-то от человека, который не боится смотреть прямо в глаза буре, — открытое, твердое, без прикрас. Но он не мог истолковать выражение моих глаз: мой взгляд был

замкнут и сосредоточен, будто я хранил внутри себя хрупкий огонек, который боялся задуть одним неверным словом. А в глубине этого взгляда пряталось нечто редкое — глубокое и тихое счастье, рожденное из самых затаенных моих чаяний.

Бинты снимали в его присутствии, и, когда ткань сползла, обнажив кожу, мы оба замерли. Потом Александр выдохнул, и его губы, на которых еще минуту назад лежала горькая складка усталости и тревоги, вдруг выровнялись и сложились в ту самую улыбку, что рождается не из вежливости, а из настоящего облегчения. Он просто сиял — весельем, юношеской радостью жизни, почти детской верой в то, что все возможно. Это был наш общий успех, выстраданный и оттого особенно драгоценный.

Ф. Бродель, французский историк, писал: «Можно ли из ада вырваться в одиночку? Нет, в одиночку нельзя, нужно выстраивать горизонтальные связи: друзья, соседи». И в тот момент я по-настоящему понял смысл этих слов: ад — это не только боль и неподвижность, это еще и тишина, в которой тонет любой крик. А горизонтальные связи — это руки, которые не дают упасть, даже если ты сам уже не веришь, что можешь держаться.

За долгое время, проведенное в неподвижности, лежа на спине после нескольких аутопластик кожи, я мечтал об одном: перевернуться на бок. Кто долго лежал в одной позе, тот поймет — это не просто движение, это целая вселенная, сжатая в одном повороте тела. Ты теряешь ощущение границ собственного тела, и возвращение к нему становится почти мистическим переживанием. Я ждал этого момента как праздника — своего личного, никому не видимого, но оттого не менее настоящего.

И вот наконец меня перевернули на бок. Мир не изменился — стены остались теми же, свет падал под тем же углом, тени лежали привычно, будто ничего и не произошло. Но для меня все стало другим — словно я впервые увидел эти стены, будто сквозь них пробился какой-то новый, доселе не замеченный свет. В тот миг я почувствовал себя самым счастливым человеком на планете. Да, я помню эти чувства до мельчайших деталей: как воздух будто стал чище, прозрачнее, будто с него стерли пелену; как тело, столько времени бывшее врагом, вдруг перестало быть тюрьмой и стало союзником — не идеальным, не послушным, но своим, родным.

Это была маленькая победа, но она заронила в душу надежду, тяжелую и теплую, как первый луч солнца после долгой зимы. Она не грела — она пробуждала. Она привела меня в восторг — не шумный, не кричащий, а тихий, но такой глубокий, что от него перехватывало дыхание, будто сам воздух стал гуще, насыщеннее, будто в нем теперь было больше жизни.

Затем, насколько это было возможно, меня стали чаще переворачивать с боку на бок. Каждое такое движение становилось ритуалом, почти священнодействием: я учился заново доверять своему телу, слышать его шепот, различать в нем не только боль, но и силу, не только слабость, но и упрямое, тихое сопротивление, которое не кричит, а просто держится. Боль теперь была не врагом, а проводником — она показывала границы, за которыми начиналась новая территория. Я ступал на нее осторожно, на ощупь, но ступал.

И с каждым поворотом мир чуть-чуть расширялся, а я становился чуть ближе к себе прежнему. Не к тому, каким был до боли, а к тому, кто умел держаться, когда держаться не за что. Это было не возвращение, а обретение — медленное, неровное, но настоящее. Как будто я заново собирал себя по осколкам, и каждый из них, даже самый острый, был частью меня.

Глава 4. Тело и душа

Будто жизнь на страданья моя обречена;
Горе вместе с тоской заградили мне путь;
Будто с радостью жизнь навсегда разлучена,
От тоски и от ран истомилася грудь.
Будто в жизни мне выпал страданья удел;
Незавидная мне в жизни выпала доля.
Уж и так в жизни много всего я терпел,
Изнывает душа от тоски и от горя.
Даль туманная радость и счастье сулит,
А дойду — только слышатся вздохи да слезы.
Вдруг наступит гроза, сильный гром загремит
И разрушит волшебные, сладкие грезы.
Догадался и понял я жизни обман,
Не ропщу на свою незавидную долю.
Не страдает душа от тоски и от ран,
Не поможет никто ни страданьям, ни горю.
С.А.Есенин, русский поэт.

Достаточно часто я болезненно переживал изломы судьбы — каждый такой перелом отзывался внутри острой, почти физической болью, будто сама жизнь проверяла, сколько ударов выдержит мое сердце. Зачастую я оставался лишь наблюдателем, отстраненным аналитиком того, что день за днем разворачивалось вокруг меня: чужие драмы, мелкие победы, горькие поражения. Я фиксировал все это в памяти, раскладывал по полочкам, искал закономерности, словно надеялся, что, поняв механизм чужих судеб, сумею разгадать и свою.

Но в этом наблюдении таилась своя ловушка: дистанция позволяла сохранять рассудок, но не давала ответов. А я, будучи человеком нетерпеливым, не умел ждать откровений, которые приходят с годами. Мне нужно было что-то «здесь и сейчас», в четырех стенах моей палаты, где время тянулось особенно медленно, а мысли кружились в бесконечном хороводе. Я начал искать приемы, способные перестроить ход моих размышлений, перевернуть привычную оптику, через которую я смотрел на мир.

Однако одного желания, пусть даже самого искреннего, было мало. Оно горело, как спичка в порыве ветра, — ярко, но недолго. И тогда я начал искать ответ на мучивший меня вопрос: «Как это сделать? Где найти ключ, способный отпереть дверь к иному восприятию?» В глубине души я все еще надеялся отыскать то самое волшебное лекарство, о котором мечтают все уставшие от борьбы люди: средство, которое разом освободит от груза проблем, снимет тяжесть с плеч и вернет легкость дыхания.

Как было бы хорошо, если бы существовал пульт, способный перематывать пленку жизни назад! Нажал на кнопку — и вернулся в прошлое, чтобы поступить иначе, сделать другой выбор, исправить ту самую роковую ошибку, которая запустила цепочку последующих бед. Я бы отмотал время до того мгновения, когда слова еще не были сказаны, поступки не совершены, и выбрал бы тишину вместо резкой фразы, терпение вместо вспышки гнева. Увы, такого пульта нет и никогда не будет.

И знаете, в этом есть своя прекрасная новость: он и не понадобится, если мы научимся совершать правильный выбор в моменте. Ведь жизнь — это не отснятый фильм, который можно пересматривать и редактировать, а живой, дышащий поток, где каждое решение рождает новую реальность. Как думаете, чем интересна жизнь? Тем, что она не дает гарантий, зато

щедро дарит возможности, и в каждом мгновении таится шанс стать чуть мудрее, чуть добрее, чуть сильнее, чем минуту назад.

Я долго крутил в голове эти поговорки — «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Они впивались в сознание, как заноза: столько раз слышал, а по-настоящему понял только теперь, когда время уже успело оставить на мне свои отметины. И ведь дело не в том, что чего-то не успел. Дело в том, как поздно приходит это странное знание: будто ты стоишь на развилке, где все дороги уже заросли травой, и вдруг видишь, какой путь был самым верным.

Иногда мне кажется, что жизнь — это черновик, который нельзя переписать. Писатели могут выпустить второе издание и исправить ошибки, а мы — нет. Я бы поменял кое-что. Не все, конечно. Кое-что я бы оставил, потому что даже боль тогда была частью меня, она учила меня чувствовать. Но отдельные эпизоды… я бы их просто стер. Или переписал бы так, чтобы в них было чуть больше смелости и чуть меньше страха.

И да, легкие пути тут не работают. Настоящие убеждения не прорастают за день. Они требуют времени, усилий, а иногда и маленьких предательств себя — когда ты заставляешь себя встать и сделать еще один шаг, хотя внутри все кричит, что хватит. Настойчивость — она ведь не про героизм. Она про то, чтобы каждый день выбирать одно и то же: не сдаваться. Даже когда кажется, что весь мир против, а ты — один на один с тишиной, которая давит сильнее любых криков.

Бывали моменты, когда происходящее казалось сплошной драмой. А потом, спустя время, я вдруг замечал: в этой драме пряталась возможность. Не сразу, не очевидно. Она не стучала в дверь с фанфарами — она сидела где-то в углу, тихая и неприметная, и ждала, пока я ее замечу. И самое важное, что я понял, — выход есть. Не всегда быстрый, не всегда красивый, но есть. Время понемногу оттаивает, даже там, где казалось, что лед уже навсегда.

Мне повезло: рядом были люди, которые не спрашивали, почему я молчу, а просто оставались рядом. Они не пытались все исправить, не сыпали советами, от которых становилось только тяжелее. Они просто держали меня на плаву, когда я уже не чувствовал дна. С ними можно было не притворяться сильным. Можно было злиться, бояться, плакать — и знать, что тебя не осудят. Это редкая роскошь — быть услышанным. Не просто чтобы кто-то кивал в такт словам, а чтобы кто-то действительно слушал: ловил паузы, замечал дрожь в голосе, видел то, что ты стараешься спрятать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.